

ЛЕОНИД КОТЛЯР

МОЯ СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА*

ЧАСТЬ III СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ

Капитан на мотоцикле

Конечно, я мог обратиться к командирам с просьбой помочь получить сведения о моей семье. Но меня останавливало отношение к нам взводного командира лейтенанта Борисова, который откровенно нас ненавидел, весь свой взвод. Он видел в нас нераскаявшихся трусов, которые, единожды предав, снова в любой момент могут стать на путь предательства, а пока затаились, воспользовавшись «доверчивостью и добротой товарища Сталина». Малейший промах, упущение или нерасторопность с нашей стороны он расценивал как саботаж и нежелание предателей служить своей Родине.

И надо же было случиться, что один из курсантов нашей роты по ошибке надел чужую шинель и очень удивился, обнаружив в кармане фотокарточки хозяина шинели в форме танкиста войск СС в компании своих сослуживцев рядом с немецким танком. Конечно, хозяин шинели был арестован. Курсанту же, обнаружившему предателя, объявили благодарность перед строем батальона. Лейтенант Борисов торжествовал, что разоблачили хотя бы одного из нас. Правда, разоблачил его не Борисов и даже не СМЕРШ, а такой же, как и все мы, вчерашний пленяга. И, справедливости ради, лейтенант мог бы изменить свое мнение хоть об одном из нас, ну, хотя бы в виде исключения. Но Борисов только утвердился в своей подозрительности и враждебности. Он тяжело страдал, что ему так не повезло по службе: получить командование взводом предателей! Впрочем, он был твердо уверен, что за свои военные заслуги (он оказался на фронте в 1945 году после училища) непременно

* Окончание. Начало см.: *Голокост і сучасність*. – 2005. – № 1. – С. 74–97; 2007. – № 1 (2). – С. 83–118.
© Л. Котляр, 2005–2008.

получит на гражданке пост секретаря обкома партии, и хотел поскорее демобилизоваться. Он не стеснялся говорить об этом прямо при нас.

13 февраля 1946-го года мы уехали из Германии в Советский Союз, а нас все еще не произвели в сержанты. И о своей семье мне ничего не удалось узнать.

По пути мы вволю насмотрелись на следы, оставленные войной. Особо запомнились мне пепелище Варшавы, развалины Минска, а также мальчишечка на одной из станций в Белоруссии, где наш поезд простоял больше часа. Мальчик был не старше шести лет и занимался привычным для себя делом: попрошайничал. Чтобы честно заработать подаяние, он пел озорные похабные частушки, которые были таким же ужасным порождением войны, как и он сам. До сих пор помню частушку из его богатого репертуара:

Старшина, старшина, хромовы сапожки,
Если девки не дают, попроси у кошки.

Конечным пунктом нашего следования в поезде из Германии стала Кострома. Когда мы вышли из вагонов (это было 4 марта), я услышал разговор между курсантами и дедом, дожидавшимся кого-то на платформе. Курсанты стали расспрашивать у него о жизни в Костроме, и он отвечал:

– Жиров давно уже не было. Вот как на Октябрьские давали тюльку по карточкам, так с тех пор никаких жиров не давали.

От Костромы до Песочного, лагеря в лесу, куда постепенно переехала вся наша дивизия, мы прошагали 25 километров по глубокому снегу, перейдя по льду через Волгу. В лагерь пришли уже ночью и поселились всем батальоном в бараке, очень длинном, отличавшемся от конюшни наличием двухэтажных нар на земляном полу и несколькими высокими цилиндрической формы печками, обшитыми жстью и похожими на большие бочки. Был март, еще трещали морозы, и никаких признаков весны не было заметно.

А в мае зазеленели деревья, мы праздновали День Победы. Главным праздничным мероприятием в дивизии был десятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности с преодолением специально сооруженных препятствий в режиме соревнования между командами всех частей дивизии, за исключением нашего батальона, из подразделений которого были образованы бригады судей-наблюдателей на каждом из сооруженных препятствий. Каждую такую бригаду должен был возглавить один из офицеров штаба дивизии. Задолго до начала соревнований мы, с командиром отделения во главе, прибыли в назначенное нам место в лесу у препятствия на пути следования участников соревнования. Сюда же должен был явиться и возглавить нашу команду кто-то из офицеров штаба дивизии.

Мы грелись на солнышке, лежа на траве. Через полчаса подъехал на мотоцикле капитан, начальник разведки. При полном параде, весь начищенный и надраенный – от орденов и медалей до своего трофейного мотоцикла. Наш сержант, житель Винницкой области, одержимый поисками земляков, попросив разрешения обратиться, сразу завел разговор с капитаном на эту тему. Выяснилось, что капитан – житель Киева. «Из самого Киева?» – переспросил сержант. Оказалось, что из самого. Далее стало известно, что в Киеве капитан проживает на бульваре Шевченко, через дорогу от моего дома. Тут уже в разговор вступил и я, полюбопытствовав, не знает ли капитан кого-нибудь из дома № 62 и уцелел ли этот дом. Выяснилось, что капитан недавно вернулся из отпуска, побывав в этом самом доме в гостях у своей одноклассницы, а моей соседки Любы Горенштейн, которая вместе с матерью и сестрой вернулась из эвакуации; что фамилия капитана Лабковский; что мы с ним встречались у Любы 1 мая 1940 года на ее дне рождения и еще два раза до этого при сходных обстоятельствах; что Люба окончила мединститут и живет в той же 21-й комнате, в бывших мебелированных на 4-м этаже, где жил и я в 13-й комнате и откуда ушел на войну. Теперь уже все отделение с интересом слушало разговор и разглядывало нас: возвышающегося на трофейном мотоцикле капитана, героя войны во всем блеске демократичности и недосягаемости, в невыносимо надраенных сапогах, в орденах и медалях, – и меня, сирого и неудалого, едва уцелевшего. Впрочем, я не завидовал капитану, я был ему только благодарен: теперь родной дом после долгих лет снова становился для меня реальностью. Стоило написать письмо Любе – и многое может проясниться.

Ответ на свое письмо я получил очень скоро, сначала от своего отца, а затем и от Любы. И вот что выяснилось.

Отец, вернувшись с остатками нашей семьи из эвакуации, никак не мог отсудить свою комнату у поселившегося в ней во время оккупации человека. Квартиры возвращались эвакуированным лишь в том случае, если они могли документально подтвердить, что хоть кто-нибудь из членов их семьи, проживавших на данной площади, был участником Великой Отечественной войны. У отца была справка, что младший лейтенант, комсорг батальона Котляр Роман Исаакович (мой брат) был тяжело ранен и эвакуирован в

*Роман Котляр –
курсант общевоинского пехотного училища
(19 лет, в. Ашхабад, 1943 г.).*



госпиталь 26 января 1945 года. Здесь его след потерялся. Ни в один из госпиталей он доставлен не был. Но жилец, занявший нашу комнату, подкупил дворника и с помощью его лжесвидетельств оспаривал подлинность предъявленных отцом документов. А мои письма уничтожил. Подлинность другой справки, о том, что я в 1941-м году пропал без вести на фронте, тем более была поставлена под сомнение, так как перед войной я был уволен в запас второй категории, а значит, воевать не должен был. Да и вообще пропавших без вести не принято было считать участниками войны: ведь они могли оказаться среди тех, кто сдался в плен, а значит, стал изменником и предателем. Убитый горем, потерявший, как он полагал, двух сыновей на войне, оказавшийся без жилья, а значит, без прописки и без работы, отец ютился с женой и дочкой у своей младшей сестры, в одной комнате с ее семьей, и мыкался по судебным инстанциям. Он уже дошел до генерального



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
АРХИВ**

Министерства обороны СССР

24 марта 1988 г.

№ 2 / 74207

142100, г. Подольск Московской области

255340, пос. Полесское,
Киевской обл., ул. I Мая, д. 5
Котляр Л.И.

На Ваше письмо сообщаем, что по данным ЦАМО СССР, условный номер "в/ч пп 48927" принадлежал политотделу 38 армии. В списке убиты политсостава частей и соединений 38 армии значится:

"Л.Котляр Роман Исаакович, мл.л-т, 1924г.р., комсорг 2 С.Б. 283 СП 140 СД, 26.1.45г. ранен эвакуирован в госпиталь"/номер госпиталя не указан/.

Основание: оп.9023, д.157, л.70/об./

По состоянию на 26.1.45г. 283 стрелковый полк 140 СД вел боевые действия в районе нас. пунктов Грабоцине, Пшибрадзе, что в 7,8 км к северо-западу от г.Вадовице /Польша/.

Основание: оп.9005, д.274, л.408/жбд/, оп.9005, д.315 /карта/.

140 стрелковую дивизию обслуживал 87 медсанбат.

Рекомендую обратиться в Военно-медицинский музей, г.Ленинград, Лазаретный пер.,2, указав номер медсанбата.



исп.Арноцкая
аг

Архивная справка о судьбе Р. Котляра.

прокурора. Но и здесь не нашел правосудия.

Тут и явилась Люба с моим письмом. Меня все давно считали погибшим, и письмо в руках Любы выглядело даже не как послание с того света, а как некое недоразумение. Читая ответ отца, я понимал: ему трудно поверить, что судьба смилоствовала над ним и готова вернуть одного из двух уже оплаканных сыновей. Он осторожно писал, что верит и не верит, просит написать ему подробное письмо и, если можно, прислать фотокарточку. Я поспешил сделать это и заверил, что никакой ошибки нет, что я действительно жив, вопреки всякой логике, здравому смыслу и всем прочим вещам, которыми люди привыкли руководствоваться в жизни. И лишь во втором письме отец попросил выслать ему и в Сталинский райвоенкомат соответствующие справки.

Комната № 13

5 декабря 1946 года часов около 12-ти дня сформированный из теплушек железнодорожный состав подошел к станции «Киев-пассажирский», не дотянув несколько метров до перрона. В этом составе, среди прочих демобилизованных, находился и я. Как только поезд остановился, я выскочил из вагона, скатился по откосу железнодорожного полотна – и до моего дома оставалось минут пятнадцать быстрой ходьбы. Я старался не бежать, идти шагом. Найду ли я кого-нибудь дома, удалось ли отсудить нашу комнату, я еще не знал.

А потом я сделал то, что много раз проделывал в своем воображении за эти страшные годы: поднялся на 4-й этаж нашего дома и открыл дверь комнаты № 13. Прямо передо мной, у окна, стоял незнакомый старик и со страхом смотрел на меня. Это был мой отец. Невозможно было поверить, что этому человеку с измученным изможденным лицом и седыми волосами нет еще пятидесяти лет. Отец тоже не узнал меня. Только накануне он вселился в нашу отсуженную комнату, и человек в форме, возникший на пороге, означал для него милиционера, явившегося оспаривать право на жилище, выселять, притеснять...

«Ташкент»

Что касается тех жителей Киева, которые эвакуировались, работали в тылу, испытав на себе, кроме лишений войны, тяготы не имевшего собственного жилья беженца, оставшегося без всего, что было им нужно до войны, даже без самого необходимого, то по возвращении в родной город они не имели права вселиться в свою квартиру (чаще всего – комнату в коммуналке), если хотя бы кто-нибудь из их семьи не был на фронте. Сегодня трудно представить, где и как жили эвакуированные (слово *«беженцы»* тогда не употреблялось, как и слово *«отступление»* и многие другие слова, называвшие вещи своими именами), какие

испытания выпали им сверх тех, которые достались населению тыла. (На Урале их называли «выкавыриванные», видимо, затрудняясь в произношении слова «эвакуированные»). Поэтому не только фронт, но и тыл с болью и надеждой ожидали конца этой немислимо жестокой и кровавой войны. Но у беженцев была еще одна причина для великой радости в День Победы: у них появлялась надежда вновь обрести собственный кров, вернуться в родной город или поселок, посетить могилы родных и близких людей, не ютиться по чужим углам в качестве надоевших и годами стеснявших хозяев квартирантов, не имеющих ни своей кровати, ни своего стула. Однако для многих и многих страдальцев-беженцев радость эта оказывалась ох какой преждевременной! Если из твоей семьи никто не был на фронте, то ты, хоть и страдал, хоть и трудился в тылу для Победы, хоть и внял призыву товарища Сталина и покинул территорию, подвергшуюся нашествию, – ты окончательно терял право на свое жилище (по крайней мере, в Киеве, Харькове и в некоторых других больших городах). Человек оказывался в отчаянном положении. И то, что ему теперь некуда податься, что, не имея жилплощади, он и его семья будут лишены прописки, а без прописки не возьмут на работу, – это решительно никого не интересовало. Любопытно, что такие люди почти не вызывали сочувствия окружающих: общественное мнение в подобных случаях определялось одним словом: «*Ташкент*».

Еще пребывая в Германии, в учебном батальоне, я услышал это слово, когда речь пошла о тех, кто эвакуировался в тыл с захваченных немцами территорий. Употреблялось это слово с презрением и даже с ненавистью к тем, кто «отсиделся» в тылу, пока шла война. И уж как-то само собой разумелось, что слово «Ташкент» касалось главным образом евреев, так как «само собою разумелось», что все они не воевали, а жили в глубоком тылу, уклоняясь от участия в боевых действиях. И если в армии я слышал это слово не так уж и часто, то в Киеве оно звучало на каждом шагу. Оно помогало утвердиться распространенному мнению, что «жиды не воевали». И даже те, кому совестно было слышать (не то что повторять) эту выдумку, кто легко мог бы ее опровергнуть, не торопились возражать, а «скромно» отмалчивались, как бы не желая ввязываться в бесполезный спор и придавать значение всякой болтовне (мало ли что говорят!). А процесс возвращения евреев из армии и эвакуации продолжался, жилье их было занято, и они вынуждены были его отсуживать, имея на руках неоспоримые документы, подтверждающие их права: о своем участии в войне или о гибели на войне мужей, сыновей, братьев, сестер... Но если в судах и прокуратуре их встречали без восторга, но жилье возвращали, то в коммуналках, занятых новыми жильцами, прежние хозяева часто сталкивались с неприкрытой враждебностью, оскорблениями и даже

откровенным хулиганством и сопротивлением. В городе разжигалась атмосфера антисемитизма вокруг «жидов, занимающих квартиры по липовым документам, которые они покупают так же, как и военные награды, а людей выгоняют на улицу!».

«Последняя пуля»

Как ни странно, вопрос о «последней пуле» и почему я ею не воспользовался, задал мне не капитан контрразведки, допрашивавший меня в Цербсте, а мой друг детства, которого я помнил и знал с тех пор, как помнил себя. Произошло это тогда же, в день моего возвращения, 5 декабря. Впрочем, кто же, как не друг, и должен был задать мне этот вопрос?! И перед кем, как не перед другом, следовало мне держать ответ по всей строгости?!

Когда Аарон Бабиченко перешел в десятый класс (а я в девятый), медицинская комиссия признала его негодным к службе в армии, и ему выдали «белый билет», дававший ему право поступать в институт, когда у всех остальных выпускников такого права не было. Впрочем, Арончик никогда не болел, обладал отличным здоровьем, прекрасно питался в голодном 33-м году. Разве что зрение у него было неважным, он с детства носил очки. Но по этой причине давали, в крайнем случае, «нестроевую». Всем соседям было ясно, что «белый билет» купил ему отец, спекулировавший всевозможными дефицитными товарами, а в дефиците было почти все. Специализировался он на клеенке и тканях, которые деревенские спекулянты скупали у него оптом. Официально Бабиченко-старший числился вахтером на заводе им. Артема и получал мизерную зарплату.

Весной 1939 года Арончик по рекомендации комитета комсомола был принят в кандидаты в члены ВКП (б) – тогда устав партии разрешал принимать комсомольцев с восемнадцатилетнего возраста. Строго говоря, мне, члену комитета комсомола, следовало бы дать ему отвод, потому что никто лучше меня не знал Аарона Бабиченко и его спекулянта-отца. Но такой отвод предполагал, что я обязан привести доказательства. А привести доказательства – означало посадить Бабиченко-старшего в тюрьму. Но доносчиком я никогда не был и стать им не хотел. Вот и промолчал.

Промолчал я и тогда, когда Арончик задал мне вопрос о «последней пуле». Я, конечно, мог сказать ему, что, воспользовавшись купленным «белым билетом», он сидел в глубоком тылу, когда гибли его товарищи, но я этого не сказал. Так, молчанием, и закончилась наша дружба. Теперь я не хотел его ни видеть, ни знать.

Нас многое связывало. Росли мы вместе, учились в одной школе, сотрудничали в редколлегии общешкольной стенгазеты. И вместе поставили когда-то спектакль в нашем коридоре-мансарде.

Дети мансарды

Я родился 28 января 1922 года в Киеве, на 4-м, мансардном, этаже углового дома, выходившего окнами на бульвар Шевченко и Дмитриевскую улицу, т. е. на Евбаз (Еврейский базар, называвшийся еще Галицким). Можно сказать, пользуясь стереотипами советского времени, что наша семья жила в коммунальной квартире, если бы можно было назвать квартирой 28 комнат, расположенных по обеим сторонам коридора, растянувшегося по всей длине дома. До 1919 года здесь помещались меблированные комнаты, сдававшиеся внаем, как номера в гостинице. В революционное время мебелишки эти снимали проститутки и уголовники, а когда в Киеве установилась советская власть, они ненадолго опустели. Но вскоре стали стихийно заселяться беженцами, уцелевшими от еврейских погромов и оказавшимися в Киеве без крова и денег для существования.

Бежали тогда из Тетиева, местечка в Киевской губернии, осиротевшие в результате погрома дети – две сестры шестнадцати и четырнадцати лет и семилетний братик. Бежали они в Киев, поскольку надеялись отыскать работавшего там еще с 1912 года своего старшего брата, а моего будущего отца, которого мачеха четырнадцатилетним выжила из родного дома. В Тетиеве они оставили, считая их погибшими, еще четырехлетнего братика и шестилетнюю сестренку. Но малыши выжили, спрятавшись на чердаке, где кормились несколько суток найденным там в мешке сахаром-рафинадом, а пили собственную мочу.

Старшего брата (моего будущего отца) дети отыскиали. Он работал шорником на заводе «Арсенал». Нашлись со временем и считавшиеся погибшими самые младшие братик и сестричка. Как-то провели о пустовавших на бульваре (тогда еще Бибиковском) мебелишках и поселились там все вместе в одной из комнат, а семилетнего Юру и четырехлетнего Сему отдали в детдом.

Сестры стали зарабатывать на жизнь продажей древесного угля на Подоле. Уголь привозили в город на телегах крестьяне. Девочки покупали у них уголь мешками, а затем продавали небольшими мерками домохозяйкам, прислуге и портным. Древесный уголь был ходким товаром: им разогревали утюги и самовары, имевшиеся в каждом доме.

Коридор заселялся очень быстро беженцами, среди которых была и моя будущая мама, бежавшая из Макарова. Здесь она и познакомилась со своим будущим супругом и моим отцом.

Когда я родился, у меня не было ни дедушек, ни бабушек, хотя матери моей было всего 19 лет, а отцу – 24. В комнате с нами жила и старшая мамина сестра Таня. 20 июля 1924 года родился мой брат Рома, а папины сестры к этому времени уже не торговали углем, а обучились

ремеслу: у них была небольшая цилиндрическая вязальная машина, на которой они вязали чулки и носки и продавали их на Евбазе.

Отец зарабатывал на «Арсенале» 90 рублей в месяц. В полочку иногда покупалась необходимая одежда, мы нормально питались. Мебели, правда, купить не могли, а имевшуюся у нас обстановку мебелью, в полном смысле этого слова, назвать можно было с большой натяжкой.

На площади перед базаром, куда выходили наши окна, красовалась и услаждала слух своим мелодичным звоном колоколов церковь (ее разрушили после войны.)

Мансарда была электрифицирована: каждая из 28 комнат освещалась одной электрической лампочкой – и никаких розеток! Потребленное количество энергии регистрировал единственный счетчик, и плата взималась по его показаниям дифференцированно, пропорционально мощности каждой лампочки, по тщательным подсчетам. При этом строго контролировалось соответствие фактической и заявленной жильцами мощности каждой лампочки. Ни о каких электроприборах или настольных лампах не могло быть и речи, а коридор не освещался. Считалось, что свет в коридор должен проникать сквозь остекленные над каждой дверью фрамуги, большая часть которых была забита фанерой. Способствовали освещению также горящие точки керосинок и примусов возле каждой двери. Электроутюги и кипятильники, начавшие появляться в быту в конце тридцатых годов, и даже радиоприемники – большая редкость на то время – вызывали у обитателей мансарды бурю негодования, поскольку количество потребляемой ими электроэнергии учету не подавалось, и к тому же старая электропроводка при перенапряжении грозила пожаром.

К тому времени, как мне исполнилось пять лет, в нашей двадцативосьмикомнатной мансарде насчитывалось до пятнадцати детишек, а в каждой комнате, в среднем, – более четырех жильцов. И на всю эту ораву было всего два водопроводных крана с чугунными, облупившейся эмалью раковинами и ни одного туалета, ни одной кухни. Готовили прямо в коридоре, а в уборную спускались во двор. Мне было двенадцать лет, когда соорудили первый туалет с одним унитазом, а через год на другом конце коридора появился и второй. Начало этой сантехнической революции пришлось на 1934 год и стало еще одним подтверждением знаменитого сталинского изречения тех дней: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Возле туалетов всегда кто-нибудь дожидался своей очереди.

Зимой 33-го года я не видел на улице трупов людей, приехавших в город, чтобы обменять золотые или серебряные вещи на еду, но умерших на снегу от голода, так и не добравшись до заветного «торгсина».

Я не видел этих трупов потому, что их успевали убрать до того, как я выходил по утрам из дому из школы. А соседи, уходившие на работу пораньше, видели и рассказывали об этом. Говорили, что на базаре продают котлеты из человеческого мяса.

Аббревиатура «торгсин» расшифровывалась просто: торговля с иностранцами. Но торговали главным образом с соотечественниками. Помню, как однажды, задолго до рассвета, отправилась в «торгсин» тетя Таня (моя мама умерла в 1929 году), завернув в узелок несколько серебряных ложек и рюмочек – все, что осталось после смерти родителей. Чтобы обменять эти «драгоценности» на еду, надо было еще много часов отстоять в очереди (магазин был один на всю область). Возвратилась она только к вечеру и принесла килограмма четыре белой муки, столько же рафинированного сахара-песку и шесть буханок черствого пшенично-кукурузного хлеба. Наша тетя Таня зарабатывала перематыванием ниток с мотков на шули трикотажных машин для папиных сестер и еще для кого-то, получая за это гроши. Работа отнимала уйму времени и сил, но имела то преимущество, что ее можно было выполнять дома и в любое время, даже по ночам, и нас не надо было оставлять одних дома, а деньги платили сразу. По карточкам выдавали только хлеб, а на базаре на заработанные тетей Таней деньги удавалось купить немного картошки (зачастую подмороженной) или стакан горьковатой кукурузной крупы, из которой раз в день варилась каша без жира. Но даже такой каши мы не могли поесть вдоволь. Чем-то нас еще, кажется, подкармливали в школе.

Со смертью матери начали уходить и благополучие; отменили НЭП, и хотя после 1933-го года мы не голодали, нужда нас ни на минуту не покидала, мы едва сводили концы с концами. Пережили мы и карточную систему распределения продуктов питания, научились кормиться кое-чем раз в день, стоять в длинных очередях за «коммерческим» хлебом, жить без денег (по три-четыре месяца не давали зарплату) и электричества, которое ежедневно по несколько часов отключали в домах.

После голода 1933 года в городе началась борьба с поразившим население педикулезом. В школах всех стригли «под машинку» – и мальчиков, и девочек. Эта кампания совпала с выдачей талонов на одежду самым нуждающимся ученикам. Мне дали талон на хлопчатобумажный костюмчик цвета хаки. В нем я запечатлен на фото, сделанном в школе для «Доски почета».

В том же году правительство Украины переехало из Харькова в Киев. Начали асфальтировать бульвар Шевченко, с Крещатика убрали трамвайные пути, и он был переименован в улицу Воровского, над магазинами стали появляться остекленные вывески, светящиеся из-

нутри, и вместо привычного слова «СОРАБКОП» на них появилось непонятное – «гастроном».

Как и все мои сверстники, я был беззаветным советским патриотом, гордился тем, что страна строит ХТЗ, ДнепроГЭС, «Магнитку» и социализм, несмотря на козни мирового империализма и капитализма, готовых задушить единственную страну в мире, строящую справедливое общество на 1/6 части земли; был твердо убежден, что и голод, и очереди, и «торгсины», и невозможность купить в магазине штаны или пару обуви, – все это следствие происков капитализма и необходимости подготовиться к неизбежной войне с ним, в течение двух-трех пятилеток превратив отсталую аграрную страну в передовую индустриальную. А что это непременно будет сделано, я ни чуточки не сомневался, так как «нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики». Нужда и лишения не убавили моего патриотизма и веры в то, что мы постоянно должны быть благодарны партии и правительству за наше счастливое детство. Правда, когда я читал восторженные строки Льва Толстого о его детстве, у меня подобных восторженных ассоциаций не возникало, и я понимал, что почему-то не могу разделить чувства Толстого применительно к детству собственному.

Наш патриотизм в значительной степени подогревался советскими праздниками и памятными революционными датами, которые торжественно отмечались всевозможными докладами, собраниями, концертами, пионерскими сборами, демонстрациями и парадами. В любой школе непременно был зал, а в нем – сцена с занавесом, столом для президиума, красной скатертью и трибуной для докладчика. При любых неурядицах и бедности всегда находился кумач, на котором смесью зубного порошка, воды и клея трафаретной кистью писались лозунги с восклицательными знаками. А ко дню 1 Мая и Октябрьской революции обязательно устраивали хотя бы небольшую иллюминацию, венцом которой был обтянутый кумачом деревянный каркас пятиконечной звезды со светящимися внутри лампочками. Мы же, дети мансарды, старались копировать увиденное в городе и в школе и по возможности обильней воспроизвести все это у себя на стенах коридора, хотя там было темно и с трудом можно было рассмотреть и оценить по достоинству наши попытки «украсить к празднику коридор» – именно так это у нас называлось.

Я во всем этом принимал самое активное участие, корпел над изготовлением наглядной агитации, потому что наш лидер Боря Гусовский и мой друг Аарон Бабиченко (см. «Последняя пуля») более склонялись к генерированию идей, общему руководству и прибавлению этой «агитации» к стенам коридора.

Одной из самых гениальных идей Бори было создание в коридоре («на коридоре», как мы говорили) собственного театра.

Театральная отравка

Предполагалось, что играть в спектакле будут все, кто уже может ощутить себя на сцене действующим лицом и осознать, что от него требуется. Текста пьесы не было – мы должны были довольствоваться сюжетом, устно и с большим темпераментом изложенным Борей. Глаза его горели, он становился значительней и даже выше ростом.

Вот этот сюжет. Из какого-то порта какого-то континента отправляется в Америку океанский пароход «Луиза». Пассажиры корабля – сплошь богатые буржуи, а капитан угнетает интернациональную команду матросов, среди которых – и негры, и китайцы. Один из матросов (Боря Гусовский) объясняет команде, что на земле существует Россия – свободная страна – и нет больше причин терпеть унижения и гнет несправедливого капитана (Аарона Бабиченко). Под руководством матроса-революционера команда взбунтовалась, подняла на мачте красный флаг, выбросила за борт капитана (см. «Броненосец Потемкин») и всех буржуев и взяла курс на Советский Союз. Торжествующие матросы на палубе поют:

«Там, в заливе,
Где море сине
И голубая даль,
Есть Россия –
Свободная страна –
Всем примером
Служит она...».

Больше всех театральная идея захватила меня, потому что я был болен театром чуть ли не с младенческого возраста. Мне исполнилось всего четыре года, когда родители взяли меня с собой в театр на вечерний спектакль. Помню, как долго родители умоляли билетершу пустить их в зрительный зал с маленьким ребенком, как под аккомпанемент родительских обещаний, что их сын будет сидеть тихо, я молча утирал слезы, катившиеся у меня по щекам и ставшие, быть может, последним веским аргументом в нашу пользу. Я не запомнил название спектакля, помню только, что на сцене были настоящие кони, красочные декорации, яркие костюмы на украинских казаках и сабли, которые казаки то и дело пускали в ход или решительно за них хватались в момент драматического напряжения. Спектакль шел в помещении нынешнего театра им. Франко; домой мы возвращались на извозчике, в быстроходных санях, укрытые медвежьей шкурой; стройная лошадка в красивой упряжи неслась по сверкающим под фонарями заснеженным белым улицам между рядами снежных сугробов. Мне совсем не хотелось спать и не

хотелось выходить из волшебных саней, когда они остановились у нашего парадного и отец взял меня на руки.

А летом по соседству с нами, за кирпичным забором на пустыре, соорудили стадион и летний театр клуба «Пищевкус», принадлежавшего профсоюзу пищевиков. По вечерам в субботу и воскресенье в кирпичном заборе открывалось манящее ярким светом окошко с лаконичной надписью «касса», где продавали билеты на спектакль, объявленный в афише. Я же, видевший афишу еще днем (случалось, я видел, как ее прикрепляли к забору), загорался неистовым ожиданием, сравнимым со страстью влюбленного. Мне казалось, что время остановилось, что солнце никогда уже не приблизится к горизонту, а день никогда не кончится. У меня пропадал аппетит, нервы напрягались до предела: я боялся, как бы чего-нибудь не случилось. А вдруг пойдет дождь (театр был под открытым небом, и только сцена, хорошо оборудованная, находилась под крышей), или вдруг папа поздно вернется с работы (никогда такого не случалось), или не откроется касса?.. Театр стал моей мечтой, моей самой волшебной сказкой, моей болезнью.

Поэтому легко себе представить, как я загорелся идеей поставить «на коридоре» спектакль. Идея эта умерла бы, едва родившись, если бы не я. Ей просто суждено было угаснуть, как и многим другим идеям, рождавшимся в горячей голове Бори Гусовского. Для спектакля необходимы были сцена, освещение, декорации, костюмы... Ничего этого не было, и невозможно было представить, откуда все это возьмется, да и как оборудовать сцену в коридоре, ширина которого не достигает и трех метров? Если учесть постановочные возможности, которые, с любой точки зрения, были равны нулю, а также амбиции Бори и Аарона, обратно пропорциональные этим возможностям, то нетрудно представить, сколько изобретательности, энергии, настойчивости, убеждений нужно было употребить, чтобы давать все новые и новые импульсы многократно замиравшему процессу осуществления постановки. Мне было «больше всех надо». Поэтому я был основным и почти единственным художником-постановщиком, и художником по костюмам, и заведующим постановочной частью... Не подумайте, что мои старшие товарищи, Боря и Аарон, были бездарными людьми. Наоборот: они придирчиво критиковали мою работу, всякий раз обнаруживали все новые препятствия на пути к премьере и поэтому готовы были в любой момент отказаться от затеи. Я же и подумать не мог, что спектакль не состоится. Поэтому, скрепя сердце, часто сдерживая готовые брызнуть слезы (а иногда и со слезами на глазах), переделывал нарисованное, исправлял критикуемое, придумывал выходы из абсолютно тупиковых ситуаций.

Начал я все-таки с пьесы, вернее, с текста, который действующие лица будут произносить на сцене. Особых мук творчества я не

испытывал. Писать текст для Бори Гусовского не требовалось вообще, так как он все равно будет говорить на сцене, что захочет. Начало спектакля явилось моему мысленному взору еще до того, как я взялся за перо: на авансцене появляется матрос-негр – зазывала пассажиров с таким текстом:

– Билеты! Билеты! Берите билеты! Через двадцать минут отправляется океанский пароход «Луиза»! Он плывет в Америку, где доллары валяются на земле! Спешите! Спешите! Берите билеты!

Самым остроумным местом в пьесе был текст, сочиненный моим дядей Юрой, уже отслужившим в армии и работавшим клепальщиком котлов на заводе «Большевик». Он сочинил монолог для моего брата Ромы, отличавшегося некоторой полнотой и способностями комика, а потому подходившего на роль одного из пассажиров «Луизы». Выходя на палубу, Рома говорил:

– Уважаемые лорды и леди, я – король самоварной меди, председатель треста сдобного теста, любитель всевозможных наук, сам – Кук Бук Джук...

В последний момент Люба Горенштейн, которая исполняла роль единственной на корабле дамы и танцевала танго с деспотом-капитаном, играть в спектакле отказалась, и у меня не осталось иного выхода, как сыграть эту роль самому, не отказываясь также от роли зазывалы-негра, которую, кроме меня, тоже некому было играть.

Премьера состоялась, успех был полным, а театр навсегда остался для меня светлым праздником и заветной мечтой. Долгие годы я думал о нем, как о своей будущей профессии, хотя никому в этом не признавался. Однако в 1946-м году стало понятно, что мечтам моим не суждено сбыться, и причиной тому оказалась моя подпорченная биография.

С пятном на биографии

Возвратившись в Киев, я на следующий же день отправился в свою родную 91-ю школу и был приятно удивлен, найдя там того же директора Приймачка. Встреча была теплой и радостной, но в то же время немного грустной. Узнав, что я был в плену, Приймачок не очень удивился, скорее, огорчился, но, конечно же, ни в чем меня не упрекнул, лишь обратил внимание на мои угасшие, как он выразился, глаза. Что-то из меня безвозвратно ушло, что-то надломилось, и он понимал, что причиной тому была не столько вообще война, сколько моё пребывание в плену. Он тут же восстановил мой аттестат зрелости вместо зарытого на краю воронки под Каховкой.

О возможности моей педагогической работы Приймачок даже не заикнулся, а предложил мне работу кассира и уполномоченного по

продовольственным карточкам. А ведь когда по окончании школы я ждал призыва в армию, он сразу же взял меня на должность старшего пионервожатого школы и говорил о перспективах преподавательской работы. Заподозрить Приймачка в забывчивости никак нельзя было, и это еще раз подтверждало, что двери вузов для меня закрыты.

Кто бы мог подумать, что 1 сентября 1947 года я стану студентом Учительского института? На этом настояла моя жена (6 июля 1947 года я женился). Формально, по закону, никто не лишал меня права поступать в институт. Более того, участники войны принимались вне конкурса. Учительский институт давал возможность получить диплом через два года, которые мы надеялись просуществовать на заработки жены, мою стипендию и то, что мне, быть может, удастся подработать во время учебы.

На вступительных экзаменах я сразу же получил двойку за диктант, так как сделал тринадцать ошибок. Это меня очень удивило: ведь в школе я получал по русскому языку в основном пятерки. Сказалось отсутствие практики письменной речи за годы войны. Абитуриенты, провалившие диктант, не допускались к следующим экзаменам, но комиссия сделала для меня, как для участника войны, исключение: на устном экзамене мне показали мой диктант, где красными чернилами были подчеркнуты, но не исправлены, мои ошибки, и сказали, что если я их исправлю, объяснив, и сдам устный экзамен, мне за диктант поставят тройку. С этой задачей я справился и стал студентом.

Учился я лучше всех на курсе, но Сталинскую стипендию получал комсорг института, мой сокурсник и ровесник. А мне бы она очень пригодилась: в мае 1948-го у меня родился сын и надолго заболела жена.

Гром грянул в июне 1949-го: когда я уже сдал два госэкзамена из четырех, меня исключили из института. В приказе значилось: «по причине сокрытия факта биографии при поступлении в институт».

Инициатором этой истории стал заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Бабенко. Майским утром 1949 года за несколько минут до начала занятий я поднимался по лестнице в плотном потоке студентов, когда он оказался рядом со мной. Слегка придержав меня за локоть, он обратился ко мне по фамилии (я был уверен, что он вообще не замечал меня среди прочих, поскольку он у нас не преподавал и за все время учебы я ни разу с ним не общался). Бабенко руководил чем-то вроде политического клуба, поэтому спросил меня, почему я ни разу за два года к ним не заглянул. В нескольких словах я перечислил ему столько уважительных причин, что он мне даже посочувствовал. Но все-таки настоял на том, чтобы я выступил с докладом перед студентами, и назвал тему, заметив, как важно для наших студентов, большинство из которых проживало на временно оккупированной территории, слушать подобные доклады. Я поспешил с ним согласиться и, к слову, сообщил,

что и сам был в плену и жил на оккупированной территории. Это ему и в голову не приходило по отношению ко мне, еврею, еще и умудрившемуся при этом выжить. Такую потерю бдительности этот человек вряд ли мог себе простить, а мне – тем более. Я понял, что даром мне это не пройдет и следует ожидать неприятностей.

Мне пришлось долго доказывать, что факт своего пребывания в плену я не скрывал, а заодно объяснять, как это могло так случиться, что еврей, пробывший в плену почти всю войну, остался жив. Беседа с директором института продолжалась три часа, была отпущена секретарша, заперта дверь. Директор не скупился на самые каверзные вопросы и придумывал самые невероятные ситуации, в каких я мог бы оказаться, хотя более безвыходных, чем те, в которых я побывал на самом деле, о чем и рассказал ему, вряд ли можно было придумать. В результате директор заявил, что лично он против меня ничего не имеет, но обстоятельства...

В институте я был все же восстановлен, и помог в этом, как ни странно, парторг вуза, который повел меня в Министерство просвещения УССР и почти продиктовал текст заявления. Диплом мне выдали, но мытарства на этом не закончились: мне было отказано в назначении на работу. «Мы вам политически не доверяем», – объяснили мне в управлении кадрами. Я подал жалобу в Министерство госконтроля. Вряд ли бы я поступил так, если бы до конца осознавал, на каком тонком лезвии балансирую и как мало мне нужно было тогда, чтобы очутиться в ГУЛАГе. В это время уже набирала обороты кампания по борьбе с космополитами, а попросту говоря, с евреями.

Все лето я «ходил по станциям», как вдруг, выйдя из очередного кабинета и спускаясь по лестнице, встретил человека, остановившего меня задиристым вопросом:

– Ты чего, солдат, обиваешь пороги министерства? Не хочешь уезжать из Киева в село?

Я сразу определил в нем директора, явившегося «выбивать кадры» для своей школы, и ответ мой был полушутливым: уезжать из Киева не хочу, но к нему поеду, потому что он мне понравился. Через полчаса мы были в отделе кадров Киевского облоно, а 24 сентября я прибыл на работу в Кагановичский район Киевской области. Так неожиданно и по-бедно закончилось мое запутанное «учительское дело».

«Дело врачей»

Преподавал я русскую словесность в селе Стещина, где не было ни радио, ни электричества, а газеты приходили на третий день и вывешивались в застекленной витрине возле сельсовета, где их никто не читал. Однако и в это глухое село докатилась в 1952 году волна

антисемитизма в связи с «делом врачей». Волну поднял прибывший с районного инструктажа председатель сельсовета, выступивший на расширенном его заседании, куда были приглашены (явка обязательна) все учителя и должностные лица села. Свое выступление председатель читал по выданному в райкоме тексту, стараясь придать голосу соответствующее теме звучание. Конечно же, он «не мог спокойно говорить о преступной деятельности врачей-евреев», поставивших перед собой цель «уничтожить советский народ путем неправильного лечения, губительных лекарств и прямого отравления». Село загудело. Впрочем, я не почувствовал, чтобы отношение ко мне в селе ухудшилось.

Но в то же время я начинал понимать, что к лету антисемитская кампания наберет обороты, по сравнению с которыми накал борьбы с космополитами 1949-го года покажется детской игрой, а грядущая осенне-зимняя расправа над евреями будет вполне сопоставима с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». Но расправу эту Сталин преподнесет миру как защиту евреев от «справедливого гнева» народа, поскольку не все же евреи виноваты в заговоре врачей-сионистов, но и советский народ не виноват, что не имеет возможности отличить невиновных евреев от преступников-заговорщиков. В сложившейся же ситуации невиновных можно будет уберечь от народного гнева, разве что переселив их в тайгу. А зшелоны товарняков, топоры и пилы, чтобы соорудить себе жилище в тайге, Родина предоставит им в нужном количестве и бесплатно. И придется им валить лес и строить себе жильё в самое неподходящее время года.

Уверенность в том, что Сталин такую расправу готовил, окрепла у меня после случайного разговора в Киеве с моим родственником, бывшим фронтовиком, зимой 1953 года. Он работал шофером на одном из киевских хлебозаводов и летом возвращался из очередного ночного рейса: ему поручили доставить машину хлеба, зачерствевшего в магазинах Киева, в один из райцентров области, где этот хлеб моментально раскупался ввиду его нехватки. В машину к нему подсел человек, который доверительно сообщил новость, пока еще никому не известную: очень скоро Советский Союз будет очищен от жидов, и тогда, наконец, жизнь по-настоящему улучшится. Пассажир был весьма многословен и красноречив; он сообщил, между прочим, что раскрыт заговор евреев-врачей (профессоров и академиков), которых уже посадили, и т. д., и т. п.

Нетрудно было догадаться, что ночной разговор был не случайной болтовней, а организованной утечкой информации.

Только чудо могло спасти евреев от второго Холокоста. И чудо произошло. В один из первых весенних дней 1953 года Сталин умер. В Стещине было два бездействовавших радиоприемника на батарейках. По случаю смерти вождя батарейки экстренно раздобыли, прием-

ник был поставлен на сцене сельского клуба рядом с портретом Сталина в траурном оформлении. После уроков я пришел в клуб, сел поближе к радиоприемнику, слушал симфоническую музыку и сообщения о важнейших политических событиях, происходящих в Москве накануне похорон «вождя всех народов». Я пытался уловить хоть слабый косвенный намек на то, что власть, быть может, намечает какие-нибудь перемены в своей политике. Просидев в течение нескольких часов один, в компании приемника и портрета вождя, я окончательно убедился в том, что народ Сталина никогда не любил и ничего хорошего от власти не ждет.

Умер Сталин, был расстрелян Берия, сменялись руководство и состав Политбюро, но антисемитизм оставался неизменной политической составляющей этой разбойничьей «руководящей и направляющей» силы, именующей свою партию Коммунистической.

Членом этой партии стал еще в 1926-м году и мой отец. Ему, как и многим другим честным людям, и в голову не приходило, что, вступая в партию, он берет на себя ответственность за все беззакония и разбой ее руководства, которые именуются диктатурой пролетариата. А в начале 1931-го года отец стал, по терминологии тех лет, «выдвиженцем»: партия выдвигала на должности государственных служащих коммунистов из рабочего класса. Работу шорника на заводе отец вынужден был оставить и «выдвинуться» в населенный пункт под названием Козелец.

Козелец

Отец, видимо, остро ощущал недостаток своего образования, но когда партия куда-то направляла, отказываться было не принято. В 1932 году его направили на курсы райснабов. Учеба давалась ему нелегко. Я это замечал, хотя был еще третьекласником. В детстве мой отец учился в хедере – еврейском учебном заведении, принадлежащем синагоге и еврейской общине. Там он научился читать и писать по-еврейски и по-русски, а с математикой имел серьезные пробелы. Но курсы все же закончил и в порядке партийного поручения был направлен в Козелец на должность председателя райторготдела. Отец явно «проехал» не тот «семафор»: коммерческая жилка в нем отсутствовала, а воровская – и подавно. Честность не позволяла ему использовать свою должность, чтоб мы хотя бы не голодали в 1933-м году. Тогда районная номенклатура учредила для себя закрытый спецраспределитель, снабжавший ее продовольствием, но моего отца в список «тридцатки» не включили. Райком партии вполне резонно полагал, что смешно включать в этот список председателя ведомства, через которое «проходило» продовольствие: он и так возьмет, сколько захочет. Но отец не брал ничего.

Моя тетя Таня, заменившая нам мать, сразу учуяла недоброе в этом «выдвижении» отца из Киева и покидать нас совсем наше город-

ское жилье наотрез отказалась. Поэтому в Козельце мы снимали небольшую комнатку в собственном доме Рутштейна – механика и бывшего агента по продаже швейных машин «Зингер». Он постоянно трудился, ремонтировал машинки жителям Козелецкого района, хотя был уже болен и стар. Можно было только удивляться, как устояла его приватная мастерская в штормовое время ликвидации НЭПа, всеобщей коллективизации сельского хозяйства и построения «основ социализма».

Жили мы в Козельце до Октябрьских праздников, а потом возвращались в Киев, а отец оставался без нас до мая следующего года. Эта кочевая жизнь продолжалась четыре года и оборвалась самым неожиданным и неприятным образом, но об этом речь впереди.

Летом 1932-го года голод в Козельце еще не очень ощущался, но сосени уже действовал закрытый распределитель для партноменклатуры. И я, хоть нас и не было в списке, молоко все-таки получал – «неофициально», отправляясь по утрам с литровой бутылкой в пункт, где его выдавали. Мне отказывали не так уж часто, но было очень неприятно протягивать бутылку, когда другим дают, а тебе могут и не дать.

Зима 1932–1933 года в Киеве без отца была для нас трудной и голодной, но еще хуже оказалась следующая. Отец, оставшийся на зиму в Козельце, почти не мог материально помогать нам, поскольку тратил свою небольшую зарплату на пропитание и оплату комнаты. Он ни разу не смог к нам приехать хоть на день, и за всю зиму мы не получили от него ни одного письма; не знали уже, что и думать. Потом выяснилось, что он чуть не погиб в автокатастрофе и долгое время пролежал в больнице. Нашим адресом в Киеве козелецкое начальство не поинтересовалось, чтобы прислать семье тревожную весть.

И это начальство постоянно упрекало отца в том, что он сидит на чемоданах, и требовало, чтобы интересы партии были для него выше семейных. Они и были выше. Даже летом отец подолгу не бывал дома, выполняя в селе, где он был уполномоченным райкома партии, всевозможные поручения, считавшиеся важнее основной работы.

В тот год мы приехали в Козелец 28 мая. Отцу никак не удавалось раздобыть для нашего переезда грузовик-полуторку, и мы добирались по Десне пароходом до пристани Остер, а оттуда 18 километров лошаадьми. Хоть и с опозданием, но все-таки засадили огород. Кроме картошки, кукурузы и подсолнухов, в огороде была еще посеяна полоска проса, но необычного. Зерно росло наподобие камыша на высоком, могучем стебле. Из этого проса мы получили великолепное янтарное зерно. Больше никогда я подобного проса не видел и каши из него не ел. Досыта стали есть только осенью 1933-го. Начало «сытой жизни» ознаменовалось у нас в конце лета сваренным во дворе коллективным

(вместе с соседями, снимавшими у Рутштейнов половину дома) конде-ром – густым пшеничным супом с картошкой нового урожая.

Я учился работать в огороде, у меня были хорошие товарищи. Козелец мне нравился. Это был один из живописнейших уездных городков Черниговщины с большим количеством прекрасных, но бездействующих храмов и удивительной красоты собором, построенным по проекту Растрелли. До сих пор помню своих друзей-товарищей по козелецкой жизни: Жора Лазарец – сосед, живший на противоположной стороне улицы, его приятель Володя Иванов и мой одноклассник Шурик Ярошенко. У Шурика была младшая сестра Липочка, необыкновенной красоты и обаяния девочка (такой, во всяком случае, она мне тогда казалась), одноклассница моего брата Ромы. Шурик и Липочка жили в небольшом опрятном домике на территории единственного действовавшего в Козельце православного храма, сторожем которого служил их отец. В компании с Шуриком я впервые переступил порог церкви, впервые увидел и услышал праздничное богослужение.

Лучшие воспоминания детства связаны у меня с Козельцом. Но и одно очень неприятное тоже связано с ним. Осенью 1935 года, почти через год после убийства Кирова, началась чистка партии. В Козельском районе она происходила публично, в клубе, переоборудованном из церкви, при большом скоплении любопытных, независимо от партийной принадлежности. Чистка продолжалась несколько дней, и пройти ее должны были все коммунисты района. Комиссия во главе с первым секретарем райкома товарищем Рыниксом сидела на сцене за столом, покрытым красной скатертью. «Чистившиеся» вызывались на сцену по одному, кратко излагали свою биографию, затем отвечали на вопросы. Даже самые невинные вопросы звучали так, будто человека желали непременно в чем-то уличить или обвинить. Во всяком случае, мне, сидящему в зале, так казалось. Пришел я туда потому, что в тот день назначено было явиться на чистку моему отцу. Мне шел уже четырнадцатый год, трудная жизнь помогала взрослеть не по годам, я интересовался всем, что происходило в стране. В непогрешимости коммунистической партии, ее генеральной линии я не сомневался, как и в том, что мой отец – честный коммунист. Но все-таки я волновался, понимая, что, наверное, и его ожидают такие же каверзно-враждебные вопросы.

Действительность превзошла все мои ожидания. Сначала прозвучало бездоказательное обвинение в том, что отец брал масло на подконтрольном ему маслозаводе. Я точно знал, что обвинение является ложным: я этого масла никогда не видел и даже не подозревал о существовании такого завода. Затем был извлечен из папки и оглашен документ-донос, гласящий, что Котляр Исаак Мойсеевич торговал

тайно в Киеве сахаром, доставляя его вагонами. Донос, как водится, также ничем не подтверждался. Впрочем, партия и не пыталась опираться на какие-либо доказательства. Отец был исключен.

Лишившись партбилета, отец автоматически лишался и руководящей должности. Теперь наше возвращение в Киев стало делом ближайших дней. Вот когда можно было оценить прозорливость тети Тани, не пожелавшей навсегда переезжать из Киева. Что бы наша семья теперь делала в Козельце без работы и крыши над головой?!

Все складывалось, в общем-то, к лучшему, но решение комиссии, «вычистившей» отца из партии, необходимо было обжаловать. Наплевать на всю эту нелепость и остаться вне партии, которая так несправедливо поступает со своими членами, было невозможно. Это означало бы молчаливо признать свою вину, а значит, оставить несмываемое пятно на биографии, писать об этом всю жизнь во всех анкетах при поступлении на работу и т. д. Не говоря уже о том, что можно было и загреметь в места, откуда не идут ни письма, ни телеграммы. Коммунисту на партию обижаться не полагалось. И, вернувшись в Киев, отец первым делом обжаловал в ЦК ВКП(б) свое исключение из партии, а затем устроился на работу по старой специальности. Восстановили его в партии только в 1938 году.

Жизнь на два дома в течение трех с половиной голодных лет довела нас до уровня полной нищеты даже по тогдашним советским понятиям. Тем более что наша семья пополнилась: отец и тетя Таня давно уже поженились, и мы уезжали в Киев с девятимесячной сестренкой. Так что завершение козельской эпопеи было для нас, несомненно, больше благом, чем злом.

К тому времени, как мы вернулись в Киев, лучшим моим другом был уже Юра Бельский, о котором я не могу не рассказать.

О моем друге Юре

Подружились мы с ним в четвертом классе, хотя учились вместе с первого дня, как пошли в школу. Классы тогда еще назывались группами (чтобы не как до революции).

Юра, в отличие от большинства из нас, жил в отдельной квартире с мамой, бабушкой и прабабушкой (булей и бабулей, как он их ласково называл). Жила эта семья на заработки Юриной мамы, которая служила секретарем-машинисткой. Отец Юры был арестован и расстрелян еще до рождения своего сына. Не знаю, в чем его обвиняли, но поскольку он был офицером царской армии и жил в Киеве, то, несомненно, состоял в формированиях белой гвардии и мог участвовать в событиях, описанных в романе Михаила Булгакова. Уже одного этого было достаточно, чтобы оказаться виноватым перед советской властью. Кстати, и дом их нахо-

дился неподалеку от знаменитого дома булгаковских Турбиных. Буля и бабуля были матерью и бабушкой расстрелянного Юриного отца.

А этажом ниже, в коммунальной квартире, некогда полностью ему принадлежавшей, жил Юрин дед по матери, который преподавал латынь в университете и, видимо, помогал дочери содержать семью из четырех человек. Когда и каким образом ушли из жизни второй дед и вторая бабка Юры, я не знаю. Об этом никогда не возникало разговоров, как не было речи и о гибели Юриного отца. К слову, у меня ни одной бабки и ни одного деда к моменту моего рождения не было, и об этом тоже между нами никогда не возникало разговоров. Наверное, главной причиной «неприкасания» к теме предков была та, что, поступая на работу, советскому человеку необходимо было указывать в анкете социальное положение до 1917-го года и кем были родители. Иногда это прошлое лучше было скрыть или уж, во всяком случае, не афишировать. Поэтому соображения элементарной тактичности требовали не касаться темы предков и прошлого.

Мы с Юрой очень любили заглядывать на часок-другой в комнату его деда в отсутствие хозяина и, конечно, с его разрешения. Главной достопримечательностью комнаты были книги на латинском и древнегреческом языках в солидных тисненых золотом переплетах, которые хранились в застекленных книжных шкафах. Больше я таких книг никогда в жизни не видел. Брать книги не разрешалось, и мы запрета не нарушали. Был у деда и радиоприемник, который можно было включить и слушать разные станции. Юра любил джаз, к слушанию которого он приобщил и меня, а его любимым пианистом был Цфасман. У меня же не было особых музыкальных привязанностей, пока на экранах Киева не появился «Большой вальс» с Леопольдом Стоковским и Милицей Кориус. И еще мы любили посещать вечерние симфонические концерты в Мариинском парке. Очарование этих концертов осталось со мной на всю жизнь.

В нашем классе многие хорошо учились, в том числе и я. Некоторые, придя в школу, уже немного умели читать, считать и кое-как писать печатными буквами. А Юра в семь лет хорошо читал и писал чернилами без клякс. В четвертом классе он писал быстро и практически без ошибок, у него был каллиграфический почерк. Юра имел такой большой словарный запас, что я понимал только половину того, о чем он говорил, но никогда не переспрашивал, а молча упорно вникал, тянулся за ним, учился и делал успехи. В восьмом классе мы с ним общались уже почти на равных, но я все равно чувствовал его превосходство.

После войны я прочитал «Повесть о жизни» К. Паустовского, где есть глава «Латинист Субоч», посвященная Юриному деду, преподававшему латынь в Первой киевской гимназии, где учился Паустовский. Юрин дед

был также классным наставником будущего писателя. Гимназисты прониклись таким уважением и любовью к своему педагогу, что разыграли его удивительным образом: они решили, что весь класс должен знать латынь на «пятерку». Спустя некоторое время латинист Субоч перестал верить своим ушам и глазам, потому что отпетые троечники и даже двоечники стали отвечать урок только на «пять». Дело дошло до того, что латинист пригласил в класс комиссию, но и она подтвердила феноменальный факт. Думаю, что Юре эта история была известна, но мне он о ней не рассказывал. Хвастать Юра не любил, а подобный рассказ он мог бы счесть хвастовством.

Юра был участником обороны Киева и погиб в окружении в районе Борисполя в сентябре 1941-го, когда наши войска, оставив Киев, угодили в Бориспольский «котел».

О гибели Юры я узнал, когда пришел в школу, вернувшись в Киев в декабре 1946-го. Выйдя из школы, я решил сразу же провести его маму. До Юрино дома было рукой подать, но я вдруг понял, что мне не хватит духу переступить порог его квартиры. Я подумал, что матери моего друга встреча со мной причинит лишь дополнительную боль. И чем больше проходило дней, недель и месяцев, тем невозможней для меня становилась встреча с Юриной мамой, потерявшей когда-то мужа, а теперь и сына. До сих пор я корю себя за то, что так и не встретился с ней.

После войны во мне очень долго жило чувство вины, что я остался жив, а многие мои товарищи, родные и близкие, миллионы солдат и не солдат погибли на войне. Среди них – мой младший брат Рома. Мой любимый дядя Юра, который написал когда-то для нашего спектакля смешные стихи про короля самоварной меди. И еще – мой лучший и единственный настоящий друг Юра Бельский.

У Юры, кроме меня, тоже не было друзей. В память о нем я назвал своего сына Юрием.

О награде

Нет, ребята, я не гордый.
 Не заглядывая вдаль,
 Так скажу: зачем мне орден?
 Я согласен на медаль.
А. Твардовский

Я тоже был согласен на медаль, когда их вручали перед строем дивизии в лагере Песочном под Костромой всем участникам войны. Всем, кроме нас, побывавших в плену. Товарищ Сталин нас хоть и простил, но у участники войны не зачислил. И я стоял в строю, смотрел, как солдаты

получают из рук командира дивизии награды, знал, что мне медали не дадут, но не завидовал, не ощущал обиды, хоть и считал, что имею право на медаль за все, что я пережил на войне.

Меня преследовало чувство вины перед погибшими на войне, но ни перед товарищем Сталиным, ни перед Родиной виноватым я себя не чувствовал. Я не нарушил присягу; меня нельзя было обвинить в невыполнении боевой задачи отбить у немцев Каховку, потому что эту задачу не выполнили ни батальон, ни полк, ни дивизия. Я выполнял свой долг, оставаясь до конца на командном пункте батальона, прикрывая отступление 756-го стрелкового полка и всей 150-й дивизии.

Если кто-нибудь думает, что командный пункт батальона находился в землянке или в окопе полного профиля, то очень ошибается. Каждый из нас успел вырыть себе окопчик-лежку под ураганным огнем противника. После того, как на исходном рубеже, когда солнце только поднималось, командир полка поставил батальонам боевую задачу к вечеру отбить у немцев Каховку и пожелал нам ужинать уже в городе, все три батальона нашего полка развернулись в цепи и таким образом продвинулись более двух километров без единого выстрела. Но затем войска внезапно наткнулись на плотную завесу такого мощного огня противника, что были вынуждены залечь и стали окапываться, вгрызаясь в твердую, как цемент, степную почву, покрытую скользкой под малыми саперными лопатками выгоревшей травой, чтобы вырыть хоть немного земли для небольшого бугорка перед собой. Когда мы, остановленные огнем, старались удержать – без поддержки артиллерии – все нарастающие силы немцев от дальнейшего продвижения и охвата наших частей с флангов, а затем, прикрывая вынужденное отступление, оказались в плену, у каждого из нас на КП батальона был окопчик-лежка до сорока сантиметров глубины. Наше сражение в районе Каховки продолжалось несколько суток.

И вот уже в мае 1966 года меня вместе с другими ветеранами (всего нас было более ста человек) вызвали в райвоенкомат. Никто из нас не знал, зачем мы здесь понадобились. Выяснилось, что для получения наград, которые остальным участникам войны давно уже были вручены. Было тепло, мы ожидали во дворе. Вызывая каждого по списку, нас стали приглашать в помещение. Потом список закончился, дверь закрылась, и во дворе осталось нас двое – не вызванных и ничего не получивших. Какое-то время мы стояли, не считая себя вправе самовольно уйти, но и не желая обращаться за разъяснениями. А после сообразили, что и на сей раз остались без наград, потому что нас освободили не советские войска, а союзники, ставшие ныне нашими противниками в «холодной войне».

Примерно в это же время я прочитал в каком-то красочном альбоме, что 756-й стрелковый полк, остававшийся до конца войны в составе

150-й дивизии, штурмовал Рейхстаг, а сержанты этого полка водрузили над Рейхстагом знамя. Из чего следовало, что 9 сентября 1941 года наш батальон свою боевую задачу под Каховкой выполнил, отступление дивизии прикрыл.

Узнал я и о судьбе артиллерийского полка (воинской части № 2268), в составе которой служил в Прибалтике перед войной, когда провалился под лед. Пока я лежал в госпитале, учебный полк 2268 был расформирован, а курсанты нашей учебной батареи стали рядовыми 1-го дивизиона артиллерийского полка в/ч 9915, откуда я и был демобилизован в запас 2-й категории. А этот полк, имевший на вооружении дальнобойные крупнокалиберные орудия и гаубицы, в начале войны был выведен в резерв Главного командования, участвовал в наступательных операциях на направлениях главного удара. Он не понес существенных потерь личного состава, получившего много орденов и медалей за участие в боях. Так что, не провались я тогда в прорубь...

За наградой я пришел в военкомат сам примерно через год. В подтверждение своего участия в боях предъявил военкому военный билет.

Через полчаса я получил две медали, рукопожатия и поздравления военкома и начальника 4-й части райвоенкомата. Получил я потом и другие награды, и удостоверение ветерана войны, и даже орден Отечественной войны II степени, о котором когда-то и мечтать не мог.

Забыл сказать, что когда военком вручал мне первые награды, на глазах у меня были слезы, как в песне.

Публикация Романа Ленчовского